



# Часть 1

## АЛАЯ, ВОРОНОЙ И СЕРЫЙ

Узнать правду или вообразить  
ее — что выберешь ты?

### Глава 1

#### АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ ПО РЕЦЕПТУ МАМЫ

Больше всего на свете я боялась стать такой, как моя мама.

В ней был намешан коктейль непонятных для меня поступков, историй, разговоров: то ли реальных, то ли выдуманных. В детстве (пусть я и помнила себя только с десяти) она говорила, что мой дедушка астроном и космонавт, но в тринадцать я узнала, что дедуля полжизни проработал билетером в планетарии.

Выдумки про космонавта — цветочки, настоящие растения-убийцы — поступки мамы, объяснений которым не существовало во всей необъятной вселенной.

Например, она резала ножницами все фотографии, где мне меньше десяти. Я видела себя малышкой на чьих-то обрезанных зигзагом руках. Осталась треть снимка, где я играю в песочнице и на кого-то смотрю, открыв беззубый рот. Сотни зигзагов, тысячи кусочков детства, которого и без того в моей памяти не осталось.

Я и сама выросла похожей на зигзаг. То в одну сторону порвусь — приспичило заниматься гимнастикой, то в другую — когда записалась на хоккей. То отрежу волосы до

висков, то отращу локоны до пояса. Проколю пять дырок в мочке, а потом ни разу не вдену в них серьги-гвоздики.

Вопрос «Почему ты режешь мои детские фотки?» звучал для мамы примерно так: «Почему анализ астроспектроскопии показывает результат в ПЗС-матрице равной нулю?»

Она не понимала смысла моих слов.

Нулю равнялись ее ответы. Мама хлопала ресницами — всегда накрашенными и подкрученными, — открывала рот, замирая не хуже отцовских аквариумных рыбок. Когда в летний день окна в квартире распахивались настежь, я смотрела на шевеление ее пышных юбок в стиле сороковых. Ткань струилась по телу матери нарядной чешуей, подрагивали плавники-оборки и бантик кухонного фартука — точь-в-точь рыбка зеленый меченосец, которую отец приобрел в прошлом месяце.

С таким же успехом я могла задавать вопрос про обкромсанные снимки отцовским меченосцам, гуппи и гурами.

В редких исключениях, если мама вместо молчания собирала фразы из выученных слов, звучали они так: «Не пора ли купить елку, Кира?»

На дворе стоял август.

Или: «Как ты думаешь, у нового коврика-половика желтый цвет выглядит новорожденным янтарем? Или он осенний грустный?»

И я кивала в ответ. И папа кивал. И рыбки кивали. И соседи, давно махнувшие на нас всеми частями тела, тоже. Все знали, что за дверью нашего дома «не все дома».

В семье Журавлевых царило безмолвное согласие. Папа соглашался с мамой, лишь бы избежать ее припадочной истерики; я соглашалась с ними обоими, лишь бы избежать придирок и вопросов о своем университетском будущем; а мама не соглашалась ни с кем. Делала

она это в фирменном запатентованном стиле — хватала с подоконника герань, из чулана тяпку, скрываясь в неизвестном направлении. Даже в феврале. Всегда с геранью и тяпкой в обнимку.

Частенько мне хотелось подойти к отцу и пульнуть ему прямо в лоб: «Почему мать сошла с ума?! Как это случилось?»

Представляю, как он поворачивается на вращающемся офисном стуле и отвечает заготовленную фразу, поглядывая на меня через стекло прозрачной литровой кружки, в которой за жидкостью чайного цвета скрывается крепкий алкоголь:

— Это радиоактивные кролики виноваты, Кира. Спроси у бабушки. Она знает. Это все кролики, дочь.

Произнося «дочь» с интонационным ударением, отец давал понять — разговор окончен. Даже еще не начатый. Я смотрела на стайки гуппи, представляя в пузырьках воздуха вокруг них все заданные мной вопросы, вылетающие прочь из аквариума навстречу дедуле-космонавту.

Я не любила отцовский аквариум. Так же, как я сейчас, немигающим взглядом в него всматривалась мама, пересчитывая рыбешек, пропуская вторую, двенадцатую, двадцатую, двадцать вторую... и остальные номера с цифрой «два».

Почему?!

Хм.

Кого бы спросить?.. Маму с геранью и тяпкой или отца с вискарем вместо заварки?

И тогда я шла к бабушке, которая первой нашла объяснения маминой странности... в кроликах.

На кроликов списывались все неприятности в семье. Ангина — кролики. Моя пара по алгебре — «что вы хотите от ребенка, это все кролики, которых мы съели!». Просро-

чили взнос по кредиту — какая может быть память после столь памятной крольчатины?!

— Бабуль, я тоже стану... такой... особенной? — спросила я бабушку в четырнадцать, когда, взрослея, начала осознать — моя мама с приветом.

— Ты уже особенная, Кирочка, — отвечала бабушка. — Мы любим тебя. Любой.

Надеюсь, она говорила не про мои шесть пальцев на левой ноге (тоже из-за кроликов).

— Мама постоянно несет бред! Я позвала ее в кино, купила билеты, а в зале она не разрешила рядом сесть. Оставила между нами пустое кресло, — возмущалась я.

— Для кого? — уточнила бабушка, перестав лепить сто пятый пельмень (я любила считать все, что вижу... как мама).

— Для герани! Прикинь! Она всюду таскает ее с собой! Ну, когда у нее «плохие дни». Так и сидела в обнимку с кустом.

— Это кролики виноваты, ай, ну как же мы... с теми кроликами, вот же не повезло! Как Мариночка любила крольчатину, как она ее любила, м-м-м...

— Ба, хватит про кролей! Из-за них она порезала мои детские фотки? Из-за них с катушек слетела? Из-за них ненавидит двойки и забывает мое имя?!

— Приезжай на выходные в сад, Кирюша, — подливала бабушка кипятка в крепкий чай, добавляя третью ложку варенья на хлеб, с которого уже до моего локтя вишневой жижи натекло, — лето, каникулы! Подышишь воздухом, малины с куста наешься. Приезжай, внучка!

— Приеду, — решила я немного поюлить, — если расскажешь про фотки! Почему я везде зигзагом?

Бабушка делала вид, что вместо пельменей нужно срочно заняться закручиванием тринадцати банок огур-

цов: дезинфицировать тару, резать чеснок, а я тут с зигзагами пристаю.

— Почему? — забрала я у бабушки прижатую к груди новорожденной тройней стеклянную утварь. — Скажи! Я хочу знать!

— Кирюша, — вздохнула бабушка, — это же все радиоактивные кро...

— Нет! Хва-а-а-ти-и-ит! — выпустила я из рук и бабушку, и ее банки-тройняшки.

Мой визг смешался со звоном битого стекла. Чтобы не смотреть в глаза бабули и не демонстрировать свои, заплаканные, я ринулась подбирать осколки.

— Оставь, Кирюша, оставь!

— Прости, они случайно разбились...

— Нет, Кирюша. Не банки. Оставь в покое мать. Не спрашивай про карточки. Не скажет. Нечего тут говорить. Такая она, и все. И не изменится...

Бабушка подвинула стул под дупло у потолка, что вело на антресоли. Я смотрела, как внутри разношенных тапочек скользят бабушкины старческие ноги в шерстяных носках, а потом на осколки от банок прямо под подошвами. Она куда-то тянулась и кряхтела, пока не спустила мне на голову коробку.

— Ба, аккуратней! — помогла я ей слезть. — Что это?

— Открой, Кирюша, — она достала себе пузырек с валирианкой, — сама открой.

Обувная коробка выглядела древней. Из мягкого коричневого картона. Уголки скреплены скотчем. Сдвинув крышку, я вдохнула аромат нафталина, хрустнула вата, мои пальцы уткнулись во что-то бумажное, гладкое.

— Фотографии, — вытащила я охапку черно-белых снимков прошлого века, годов семидесятых. — Но... — не укладывалось у меня в голове. — Эти тоже...

Все они были разрезаны, как мои, — зигзагом. Вторых половинок не было. Словно пятилетке дали ножницы и все семейные альбомы — тренироваться вырезать аппликации.

— А кто на них был? — спрашивала я, перебирая раритет. — Кого она вырезала?

Белые прострелы заломов, опаленные огнем уголки, треснувший молниями глянец, что хранил мгновения чьих-то жизней. Жизни моей мамы, которую я сразу узнала. На ней была школьная форма Советского Союза — коричневое платье с черным фартуком. А на лице светилась моя улыбка. Словно кто-то обработал нас в фотошопе, слепив из ДНК отца и матери мой геном. Крупные зубы и широкий рот достались мне от нее. И волосы у нас похожи — длинные, немного вьющиеся.

Моя подруга Светка ревела в три ручья, когда три года назад я обрезала их выше ушей и выкрасила в синий, сбрив виски. Весь седьмой класс эпатировала учителей, пока Надя Горохова не нарастила искусственные прядки с цветным канекалоном. Она заплетала с ним толстенные косы, став копией лошадки Черри-Бэрри. Была у меня такая игрушка пони в детстве с цветными прядками в гриве и хвосте.

Копна Гороховой возвышалась с первой парты, перекрывая обзор доски. Все тут же переключили внимание на Надю, копируя ее стиль, и я поняла, что слишком взрослая для синтетических париков, решив вернуться к естественности (на самом деле я всегда была старше всех на год, так как полностью пропустила третий класс. Зато теперь, в одиннадцатом, мне было уже восемнадцать и месяц назад я сдала на водительские права). С тех пор волосы снова отросли до пояса, я никогда не сушила их феном и не красила краской.

— Не она, внучка. Не она их порезала. Я это сделала, — грустно смотрела она на коробку, выпивая капли второй раз.

— Ты? Зачем, ба? Кого ты отрезала?

Руки бабушки вытянулись к коробке, но в последний момент она отдернула пальцы, не решаясь прикоснуться.

— Прощлое отрезала, внучка, прошлое, которого нет. Его больше нет. Не нужно хранить исчезнувшее.

— Это какой-то секрет? Кого ты хотела забыть? Кто исчез, ба?! Расскажи!

— Твое беспамятство о детстве, Кирюша, посланный небом дар. Не о чем нам говорить. Не о чем, внученька.

— Ну ба-а-а!!

— Ты же не хочешь быть такой, как мама, вот и не становись. А если узнаешь...

— Сойду с ума?!

— А? О чем ты, внучка? — захопала она глазами, удивленно рассматривая распахнутый передо мной альбом, что лежал поверх остатков муки и кругляков пельменного теста. — Откуда это у тебя?.. Как он оказался здесь? Боже, что с памятью... что?..

— Ты достала с антресолей. Забыла?

— Старческая память, внучка, хуже младенческой, — забрала бабушка альбом, поспешно закидывая в корзинку для хранения картошки. — Ты есть-то будешь?

— Ела! Я уже ела! У нас с памятью, кажись, наследственное, да?

— Это все кролики, Кирюша, радиоактивные кролики...

С тех пор мы с бабушкой к разговору о фотках не возвращались. Я не могла добиться правды ни от кого: кого можно было так не любить, чтобы уничтожить следы любого присутствия за последние сорок лет? Что я забыла о детстве? Кого вырезали (равно удалили из друзей с допо-



топных социальных сетей) бабуля с мамой? При чем тут цифра «два», которую так боится мама?

Правда не волновала никого. А правда о прошлом — в квадрате (привет, мам!). У меня на носу был выпускной, и всех вокруг интересовало лишь то, куда я решила поступать.

Школу я не любила. Точнее... в ней не любили меня. Блокировали в чатах или ставили в список с ограниченным доступом (цифровая резка зигзагом). Я была для них сведена к единице своей особенной семьи.

У нас в Нижнем полгорода друг друга знают, и моя мать с горшком герани и тяпкой в руке на автобусной остановке, обутая в домашние тапки в середине февраля, быстро стала местной достопримечательностью и объектом сплетен. Надо мной смеялись, называя фамилией Тяпкина, а не Журавлева. Однажды учительница по химии обводила класс взглядом — кого бы вызвать: «К доске пойдет Кира Тяпкина... Ой! То есть я хотела сказать...»

Я убежала. Неделю просидела дома в надежде, что класс отвлечется на новенький хейт, но нет. Вот уже два года как раз в месяц меня кто-нибудь обзывает Тяпкиной, крикнув в спину.

У меня была только одна подружка — Светка, заменявшая сестру, одноклассницу и бесплатного психотерапевта, когда хотелось понуть кому-то в ухо по телефону часика три. У Светки было отличное качество — она ни о чем меня не спрашивала, если я сама не расскажу. Жаль, мы не познакомились, когда мне было семь. Она рассказала бы мне о детстве, на фотографиях из которого я сплошной зигзаг.

— Кира, — каждый вечер задавала мама один и тот же вопрос, — ты уже выбрала институт?

— Да, мам, — отвечала я, не поворачивая головы. — Я хочу писать тексты для печенюшек с волшебными предсказаниями! Круто, да?

В мамином списке одобренных для меня профессий значилось целых три: экономист, экономист и юрист. Почему два раза экономист? Цифра два. Мама обвела их красной ручкой и поставила рядом четыре восклицательных знака. Могла один или три, но четыре!

Четыре восклицательных знака равнялись отказу в *апелляции* с моей несогласной стороны — единственное слово, что я знала из юриспруденции.

Экономистка и юристка. А как же дизайнер витрин, автор поздравительных открыток, флористка? Кто-то же должен писать предсказания для счастливых китайских печенюшек или вырезать скульптуры из фруктов! Я читала, что есть профессия уборщика айсбергов, испытателя курортного шезлонга, ныряльщика за мячиками для гольфа или дегустатора кошачьей еды.

Все веселее, чем цифры проводок бухучета или цифры кодексов. Интересно, мама знает, что я не могу умножить в уме шесть на пять, на семь и на восемь, а дни недели представляю в голове разлинованными окошками школьного дневника. Слева наверху понедельник, под ним вторник и среда, справа четверг и все остальное.

Сегодня как раз четверг.

Всей семьей мы должны ужинать минтаем. Наступила последняя неделя летних каникул. Я собиралась скоротать ее у бабушки на огороде и паковала спортивную сумку забиванием пяткой купальника, когда в коридоре раздался телефонный звонок.

— Межгород! — закричала я, собирая растрепанные волосы в высокий перекошенный пучок у самого лба. — Па! Межгород!

Мне по межгороду звонить некому. Мама никогда не подходила к телефону, особенно после случаев, когда ей несколько раз позвонил енот. Это не прозвище. Она была уверена, что говорит с живым енотом. (Сколько ж надо было радиоактивных кроликов слопать, чтобы еноты по телефону звонили?)

После того разговора мама выдернула из горшка охапку цветущей герани и уехала на целый день. С лопатой, тяпкой и лейкой. Наверное, повезла букет своему еноту. Похоже, отцу пора требовать скидку на покупку очередной рассады с геранью на всех ближайших садоводческих рынках.

— Алло, — слышала я из приоткрытой двери обрывки разговора отца. — Сергей, здравствуй. Да нет, вроде нет. Благодарю, вашими молитвами. Ну да, да. Твой-то как? Да ты что! Дети у тебя, конечно, одаренные. Кира тоже, не спорю. Помню, как я забуду. Ты-то что решил? Ясно. Поговорю.

Ток прошиб по нервным окончаниям спинного мозга. Терпеть не могу, когда по телефону произносили мое имя. Как будто русичка из пятого класса сейчас скажет, что за сочинение я получила кол/кол. Меня лишат сладкого, не разрешат пойти со Светкой на каток и, чтобы не таскать из комнаты туда-обратно десятикилограммовый телик, демонстративно вынесут удлинитель, запретив смотреть мультики.

Отец положил трубку, а я запрокинула голову к потолку, чтобы он точно услышал подтекст недовольства:

— Чего от меня надо?! Ничего делать не буду!

— Ты и так ничего не делаешь, — заглянул он в комнату, одновременно стуча по косяку.

Папа напоминал престарелого Гарри Поттера. Взъерошенный, печальный. Он словно пережил самую страшную трагедию в жизни, что испещрила его молодой лоб

преждевременными рытвинами. Победил сильнейшего в мире черного мага, но никогда о нем не говорил. Не хватался мне — примитивному маглу — своим героизмом.

Только все восемь лет, что я себя помнила, он учился на факультете Врифиндор. Делал вид, что счастлив. Идеально притворялся. Мимикрировал под человека всю мою осознанную жизнь, которую я помнила с десяти. Остальное стерто — отрезано с фотографий зигзагом, прошедших сквозь материнские руки-шредеры, никогда не обнимавшие меня. Только герань.

Детство отсутствовало. Его не было. Родители не отмечали мои дни рождения, не покупали именинные тортики (один раз такое произошло, но вспоминать тот ужас не хотелось). Мне что-то вручали без повода в рандомные даты. То на месяц раньше, то на пять. Чтобы вспомнить дату своего рождения, приходилось заглядывать в паспорт. Да, я из тех, кто не установит на пароль цифры дня рождения — они были для меня чужими.

За последний год отец стабильно по два раза в неделю приходил домой после десяти вечера. По вторникам и пятницам. Он говорил, что ходит в спортзал, вот только кто занимается без сменной формы и кроссовок? Я знала, что он врет, но не лезла. Мне плевать — любовница у него там или енотиха. Герань ей с подоконников не носит — и на том спасибо. А правду он все равно не скажет. На факультете Врифиндора он был отличником с экзаменационным баллом выше ожидаемого.

Папа стоял в дверях и рассматривал бедлам в спальне недовольным, но смирившимся взглядом. Он чаще молчал, как его аквариумные рыбки, потакал во всем матери и не орал, когда меня отчисляли... много откуда.

Рыбы молчали. Отец молчал. Зато я рьяно надрывалась за всех:

— Я официанткой работала семь недель! Забыл?

— Чтобы не ходить на гимнастику.

— Меня же в тот год исключили из секции!

— В шестой раз. Помню.

— Но ты сам голосовал за хоккей! — шарила я взглядом по бардаку комнаты в поисках коньков и клюшки.

— Потому что ты просилась в стрелковый клуб.

— Бабушка же умеет стрелять! У нее ружья! И я хочу! Я в тирах самая меткая, — кивнула я на гору дурацких плюшевых призов, собранных по всем ярмаркам Нижнего.

— У бабушки охотничий билет. И хватит с нас радиоактивных кроликов! Ты же любишь животных.

— А я не в зверей, я по мишеням хочу стрелять.

— Для этого тира достаточно. Но лучше бы ты вернулась в хоккей.

— Нет, — наконец-то утрамбовала я пяточным прессом купальник, — с этим все. И с гимнастикой тоже. Они в прошлом, — скрестила я руки, посылая полный выразительности взгляд, и добавляя: — Как половина ваших с мамой жизнью. В прошлом, папа, — попробовала я поставить точку, как он ставил точку-«дочку».

Кажется, сработало. Отец исчез из проема двери, но стоило мне ехидно улыбнуться, он вернулся с деревянной шкатулкой, похожей на хлебницу. С той самой, от которой меня отгоняли весь мой осознанный возраст.

Отец сел на ковер, прислонясь спиной к свешенным рукавам толстовок. Рукава обняли его вместо меня. Интересно, когда я в последний раз обнимала его, а не орала в ответ на его бесцветные реплики?

— Мама с геранью сбежит, если увидит это здесь, — села я на пол в полуметре, поглядывая на шкатулку со страхом и вожделением.

Дистанции мне были жизненно необходимы. Может, и маме тоже, раз она оставляла свободное кресло между собой и мной, втыкая посередине куст.

— Здесь, — прокашлялся отец, — тут где-то были фотографии с Воронцовыми. Сейчас найду.

— С кем?

Отец достал целый черно-белый снимок и протянул мне.

— Вот. Это он. В армии. Сергей Воронцов. Там мы подружились, когда жили с семьями в Калининграде.

— А, — припоминала я, — богатый дядька, который сейчас в Москве?

— Ну да. Большой бизнес на трех континентах.

Вспомнила я и пасхальные открытки Воронцовых.

— Это его жена поздравляет нас каждый год? Присылает нарисованные вручную открытки, на которых ничего не понятно.

Отец ткнул пальцем в следующую фотографию:

— Владислава, его жена. Она художница.

— И тоже известная на трех континентах?

Отец улыбнулся:

— С их капиталами можно и на четырех прославиться.

Снимок был сделан на природе. Мои родители сидели за дощатым столом напротив Воронцовых. У мамы образцовая укладка обесцвеченных волос в стиле сороковых, сшитое ею самой платье. Папа худой и сутулый, еще с усами. Жена Воронцова даже на этой старой фотокарточке с замятыми уголками выглядела красивее многих моих нынешних сверстниц.

Глаза у нее были огромные. Лицо круглое с тонким коротким подбородком. Волосы светлые, густые и очень длинные. Белые зубы с небольшой щербинкой отражали свет вспышки.

— Клевая, — разглядывала я натуральную красоту женщины в расклеванных джинсах.

Ее муж, Сергей Воронцов, был в два раза толще моего папы. Он отращивал баки, которые делали его огромную голову похожей на волосатую сахарную вату. Противную, коричнево-черную, на тонкой палке-шее.

— Вот, — откопал папа новый снимок, — их дети. Максиму сейчас двадцать один. Алле девятнадцать. А тут ей одиннадцать, — показал он на ребенка со снимка, сделанного на детской площадке. — А это ты. Вот тут, рядом с Аллой.

— Где?

— Вот же. Вы целый день... играли в классики.

— Это я? Кошмар! Что у меня на голове?! — не верила, что на фотке рядом с Аллой я. — Что за косынка болтается? Челка в три миллиметра... И эта кофта!

— Ну, мама любила делать такие прически.

— Ага! Проблемы у нее, а страдала от ее стрижек я! — инстинктивно проверила длину своих локонов, распуская пучок.

Дети Воронцовых одеты в джинсу с головы до пяток, а я выглядела ряженой матрешкой со скособоченной челкой в пухлой пингвинячьей кофте! Не удивлюсь, что такое детство я бы хотела забыть.

— Что это у Аллы в ухе? Вон тут?

— Слуховой аппарат.

— Не помню их, — поморщилась я, — не помню себя до третьего класса, ты же знаешь, пап.

Я сохранила какие-то огрызки воспоминаний, как порезанные допотопные фотки, на которые мне запрещалось смотреть, если мама дома.

— Сергей Воронцов и его жена приглашают тебя к ним в гости, — ошарашил отец после пятиминутной подводки.

Так вот о чем он разговаривал с Воронцовым.

— Куда в гости?

— К ним домой. В Москву.

— А зачем?

— Если честно, — мялся отец, все глубже закапываясь в мои толстовки спиной, видимо остерегаясь реакции, — я попросил его порекомендовать для тебя варианты школ, а он так увлекся, что подобрал гимназию, куда ходит Алла.

— Не надо меня никуда подбирать!

— Я знаю, ты прогуливаешь. Понимаю почему, — бросил он взгляд через стену к подоконникам с зеленью в мелкий красный цветочек. — В Москве тебя никто не знает. Нашу семью не знает. Ты сможешь спокойно доучиться.

— А где я буду жить?

— В коттедже Воронцовых. Для детей у них отдельный дом.

— Целый дом? Наверняка они высокомерные мажоры. Максим с Аллой.

— Сергей сказал, они будут рады тебя видеть. Алла пойдет с тобой в один класс. Все покажет и расскажет.

— Ей же девятнадцать... в какой класс? Мы будем престарелыми тринадцатиклассницами, да?

— Алла пропустила два года. Она болела. И лечилась в клинике.

— Болела? Чем?

— Алла очень умная девочка. Но иногда замыкается. Тяжело находит язык с окружающим миром.

— Класс! — щелкнула я пальцем. — От психованной матери переселюсь к психованной дочке олигарха!

— Нет, Кира, она не сумасшедшая. Ее все считают замкнутой. Девочка молчала до пяти лет. Ни слова не произнесла. А потом затараторила на шести языках и каком-то вымирающем диалекте. Но, — отвернулся он к окну, —



Сергей говорит, периоды работы ее мозга сменяют друг друга. В один день Алла работает с нерешенными математическими гипотезами, а на другой сидит с открытым ртом, уставившись в одну точку. И тогда он отправил дочь на лечение.

— И как? Вылечили?

— В стену больше не смотрит. Изучает растения, кажется. Воронцов что-то про редкие кактусы говорил. И я подумал, что нужно нам тоже заняться лечением мамы. Может быть, помогут и ей, если врачи смогли помочь Алле.

— А мама точно?.. — не хотела я говорить лишний раз слово «больная».

Он кивнул.

— Кир, в поездке и плюсы есть. Без давления мамы сможешь подумать про вуз. Ты уже решила, кем бы хотела стать?

За одно предложение отец умудрился наступить на все мои больные мозоли: поездка, мама, вуз.

— Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?

— Нешто?

— Типа «что ли», — дернула я головой, выходя из роли. — Монолог Катерины из Островского. Девушка вот птицей хотела стать. А мне можно?

— Кажется, финал в пьесе нерадостный, — растирал отец переносицу.

— А в жизни всегда хеппи-энды? Может, птицей хочу!

— Ты уже птичка! Ты наша Кирочка Журавлева! — появилась на пороге мама. — Наш пушистый маленький птенчик. Наш журавленок! — лепетала она, разуваясь.

— Мам, — закатила я непроизвольно глаза, — мне что, пять?